

Галина Волчек:

«МЫ САМИ РАЗРУШАЛИ СЕБЯ,

потому вина за то, что мы свершили,
лежит на всех» *Независимая газ. — 1993 —
17 апр. — С. 1, 7.*

Судьба театра «Современник» удивительно похожа на судьбу человеческую. В ней было все. И первая любовь — светлая пора студийных лет. И горечь утраты — уход Олега Ефремова и части актеров. И возрождение — оправившись от потрясения, «Современник» обрел второе дыхание. За двадцать с лишним лет Галина Волчек, главный режиссер театра, пережила немало и черных дней, и радостных. Но как бы ни было трудно, какие бы времена ни стояли на дворе, ни разу она не изменила главному — подменить понятие «современность» на «своевременность».

Марина Невзорова

Зеркало

ГАЛИНА БОРИСОВНА, как это ни огорчительно, но наша интеллигенция не устает считаться славой: то делили лавры шестидесятников, теперь спорят, кто подготовил общественное сознание к перестройке. Естественно, упоминают «Современник».

— Готовили ли мы общественное сознание?.. Мне кажется, что театр был задуман нашим учителем Олегом Николаевичем Ефремовым как театр противостояния окружающей нас лжи, ханжеству, фальши. Своими спектаклями мы пытались вернуть людей в систему координат истинных человеческих ценностей. Над нами иронизировали. Говорили, что мы «шептальные реалисты», а самое популярное слово «Современника» — «гражданственность». Это понятие было настолько дискредитировано, что, кроме идеосинкразии, ничего не вызывало. А мы хотели, чтобы оно вновь обрело свою суть. И если говорить о «Современнике» с этой точки зрения, то, наверное, кое-что нам удалось сделать.

50-е годы — наши прекрасные времена. Слово «студия» в названии отражало суть нашей жизни. Мы переживали этап первобытного коммунизма. До какого-то времени поровну делили зарплату,

отказывались от званий. Когда же реалии изменились, Олег Николаевич нашел в себе мужество и предложил изменить название. Может, это и стало одной из тех вех, которые не позволили нам согнать тогда и потом накручивать эту ложь по спирали. Потому что, единожды согнав... Говорить о том, как нам было трудно, я не люблю. Так жили все, может быть, нам доставалось больше, чем другим, ну что теперь об этом вспоминать? Правду полностью сказать никогда не могли, это естественно, но старались не врать. Компромисничали мы все, здесь иначе жить было нельзя.

А вообще-то я удивлена, что кто-то хотя бы впробор назвал «Современник». Сейчас это как-то не принято. Думаю, что даже в театральной истории о существовании такого театра никакого упоминания не будет. Современники постараются, двадцать с лишним лет я только и слышу, что такого театра нет. В лучшем случае, «он портит картину театральной жизни, и такого режиссера, как я, — нет». Достаточно я начиталась всего, включая доносы. И потому как для большинства критики нет театра «Современник», для меня нет критики. С уходом Павла Александровича Маркова умерла ее совесть. Но страшнее другое. Если перефразировать слова Белинского: «Не любите ли вы театр так, как не люблю его я», то это и будет ключ к пониманию сегодняшней критики. Не любят они театр.

(Окончание на 7-й стр.)

«МЫ САМИ РАЗРУШАЛИ СЕБЯ»

(Окончание. Начало на стр. 1)
— Не знаю, правомерна ли такая аналогия, но, вспоминая спектакль «Вечно живые» и вашу Ньюку-хлебозерку, я думаю о том, что подобные ей хозяева жизни — наглые, хамоватые, уверенные в себе только потому, что обитают около хлебозерки, — появляются во времена разрухи, беззакония. Вот и сейчас они явились нам, внешне изменившиеся до неузнаваемости, но с той же убогой жизненной философией.

— Наверное, отчасти это так. Они же пришли на смену другим хозяевам жизни, у которых не было миллионов, но зато были возможности, которые и не снились нынешним нуборишам. Дачи с обслугой, пайки, квартиры, звания, зарубежные поездки, и все, извините, за дарма.

Сейчас в этом хаосе очень трудно что-либо разглядеть. Экстремальная ситуация вытолкнула на поверхность всякой твари по паре. Среди них есть очень талантливые люди, ведь настоящий бизнес требует тоже особого дара. А с другой стороны, люди малообразованные, с единственной способностью — хватать. Кто из них победит — от этого во многом зависит будущее страны. А вот, если вы спросите, вижу ли я отчетливо картину этого будущего? Нет, не вижу, если на что-то надеюсь, то только на чудо.

Хотя надо отдавать себе отчет в том, что мы всегда жили в условиях, в меньшей или большей степени приближенных к экстремальным. Это касается и театра. Сколько себя помню, слышу: театральный кризис. В этом кризисе я прожила всю жизнь. Могу я сформулировать, что это такое? Нет. Что это за кризис такой, который длится тридцать с лишним лет? Чем не экстремальная ситуация — жить постоянно на краю гибели? А о ней было не только объявлено, но и приложено немало усилий, чтобы приблизить ее всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Но, как говорил Марк Твен, «слухи о моей смерти оказались слегка преувеличены». Театр жив. Будем надеяться, что и общество выживет, несмотря на предвещаемую скорую гибель. Не то чтобы я розовая оптимистка, но в душе все-таки верю в какой-то, как сейчас принято говорить, свет в конце тоннеля.

— Галина Борисовна, мы настолько привыкли к этой метафоре, что перестали вникать в смысл, а ведь свет в конце тоннеля бывает только от въезжающего туда поезда. И мне иногда кажется, что сидим мы в этом тоннеле, ждем света, поезд едет прямо на нас, а мы все скорбим и причитаем.

— То, что сейчас с нами происходит, — естественно. Нельзя никак это искусственно остановить. Шарахнуть всех по голове и сказать: «Прекратите вздыхать и охать, давайте улыбаться». У нас был кляп. У всех. Наконец его вынули. И отдышавшись, все начали говорить кто во что горазд: кто скороговоркой, кто грубо, кто, не давая себе особенного труда подумать хоть чуть-чуть. Надо дождаться конца этого словесного выброса, когда вернется к нам нормальная человеческая речь. Это не происходит мгновенно. Сознание наше перерождается медленно. Я и по себе это замечаю.

Когда я приехала в Америку в первый раз в 78-м году, то ничего, кроме раздражения от их бесконечных улыбок и вечного «fine», не испытывала. Од-



Фото В. Плотникова

нажды, когда раздражение достигло апогея, я решила попросить переводчицу сказать, что у меня утонул муж. И, получив в ответ дежурное fine, поняла, что это способ их существования. Хотите — назовите это маской, но маска со временем прирастает и становится как бы частью самого тебя. А когда мы с театром были на гастролях в Америке два года назад, я уже совсем по-иному воспринимала людей, которые шли по улице и просто мне улыбались. Я поняла, что они сумели создать такое поле, от которого каждому, кто в него попадает, становится чуть легче, менее одиноко. Но им на это потребовалось двести с лишним лет. Сколько потребуется нам?

— Есть такая басня про человека, который попал в царство хромых и кривых. На него напали только за то, что он был просто нормальным человеком — не хромотал и не косил. Почему мы были таким царством, и во многом им и остались — понятно, жаль только, что почти не осталось тех, на кого нападать.

— Может, сейчас их действительно немного, но я убеждена, что непременно станет больше. Я вижу молодых людей, да, пока путающих свободу со вседозволенностью, но сквозь внешнюю шелуху я вижу и их мышление, не обремененное инерцией страха. И это залог будущей настоящей, а не ОБЪЯВЛЕННОЙ свободы. Скажем так, в 85-м году назначили очередную кампанию, на этот раз на свободу. Сколько их на моей памяти: на оптимизм, на борьбу с врагом, против религии... Я ненавижу всякие кампании — этих уродливых детей уродливой системы. Может, поэтому и не вступила в партию. Тоже была кампания, причем неучастие в ней каралось сурово: пред тобой захлопывались все двери, партбилет был пропуском повсюду. Теперь таким пропуском служит бывшая беспартийность. Ну нельзя же весь мир красить всего в два цвета — белый и черный. Ведь и среди партийных, даже функционеров, были очень разные люди, которые тоже, уж если так говорить, были предтечей перестройки.

Наш секретарь Бауманского райкома, например, который сделал много доброго не только театру. Кстати, и круг его друзей говорит сам за себя: в то время опасно было дружить с Ростом или Дaneliей. Он долго уговаривал меня вступить в

партию. Один раз после сдачи «Обратной связи» — а он приходил всегда, чтобы защитить нас, — мы остались вдвоем, и он, глядя на декорации — типичный «кожаный» кабинет секретаря горкома, — сказал: «Ну хочешь я приведу сюда бюро райкома, и мы примем тебя прямо на сцене?» Я хотела невероятно.

— Галина Борисовна, вы упомянули об инерции страха. Зная жизнь вашего театра, трудно поверить, что вы чего-то боялись.

— Да, был у меня страх, я и до сих пор от него не отделилась. Не поддается он никаким формулировкам, в этом и ужас. Хотя страх не сдерживал меня. Я делала в театре то, что считала необходимым. Сколько раз мне грозили указующим перстом: мы вами недовольны, Галина Борисовна. «Провинциальные анекдоты» заворачивали восемь раз. Потом я сказала: «Вы открыли новый вид спорта. В нормальном — разрешены только три попытки, а вы приняли спектакль с восьмой». Так что все в этой жизни было. И оказались мы ехать на наши первые гастроли в капстраны, потому что узнали, что два актера невыездные. Это был беспрецедентный случай. Государство заплатило колоссальную неустойку. Можете себе представить, что я тогда пережила. Да разве перечислить все, что пришлось вынести за эти двадцать с лишним лет, никакого интервью не хватит.

И цензор внутренний был всегда. Другое дело, что моя цензура никоим образом не устраивала тех, кто управлял искусством. У них были свои понятия о том, что можно и чего нельзя, смехотворные на сегодняшний день. Мне не разрешали выпускать наивный, милый спектакль «Свой остров», потому что Высоцкий по моей просьбе написал специально для него песни. Мне сказали: «Кто угодно пусть будет, хоть... Северянин. Только не Высоцкий». Я не согласилась и потом невероятно гордилась: это были первые залитованные Володины песни. Но все равно, страх был, как был он у всех. Конечно, был Андрей Дмитриевич Сахаров, другие, кто страха не ведал, но это — единицы.

— Каждое общество само определяет для себя, что есть добро и зло. Кажется, мы сейчас вовсе забыли об этих понятиях, заменив традиционно риторическим для России вопросом «кто виноват?».

— Меня лично всегда волновала — и я старалась именно на этом сделать акцент в своих спектаклях — вина каждого из нас за то, что мы свершили. Когда я ставила «На дне», то в монологе Сатина это было для меня главным, — и я просила Евгения Евстигнеева, чтобы в словах: «Вы все скоты, дубье» — звучал подтекст «мы». Если Сатин обвиняет, то он обвиняет и себя. И в «Мурлин Мурло» тот же лейтмотив: Бог от нас отвернулся, потому что вина за то, что с нами происходит, лежит на всех. Неважно, в чем конкретно моя, ваша, его, ее вина. Мы сами разрушали себя, мир, каждый день допуская насилие, предательство, наушничество, ложь, унижение кого-то на наших глазах.

И в том, что мы живем сегодня в моральном беспределе, в безвременье, когда смещены все понятия, нарушены нормальные человеческие связи, тоже виновны все. Возродить их мгновенно невозможно. Это долгий путь.